

Юрий Лунин

СОВРЕМЕННОСТИ
И КЛАССИКИ

Святой день



Современники и классики

Юрий Лунин

Святой день (сборник)

«Региональное отделение продюсерского центра
при Интернациональном Союзе писателей»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2 Рос=Рус)6

Лунин Ю.

Святой день (сборник) / Ю. Лунин — «Региональное отделение продюсерского центра при Интернациональном Союзе писателей», 2017 — (Современники и классики)

ISBN 978-5-906916-13-6

В современной русской словесности Юрий Лунин не то чтобы стоит особняком, — каждый писатель отдельный, если он настоящий. Независимо от времени, места и языка. А настоящий писатель — это тот, кто обретает свою интонацию и пишет тексты, не подменяя слова идеями, а молчание — толкованиями идей. Лунин — такой писатель. А еще, когда он пишет слова и расставляет паузы, он старается услышать музыку — вот в этой самой, нашей с вами, его, ничьей — обыденности. Услышать и написать словами.

УДК 821.161.1
ББК 84(2 Рос=Рус)6

ISBN 978-5-906916-13-6

© Лунин Ю., 2017
© Региональное отделение
продюсерского центра при
Интернациональном Союзе
писателей, 2017

Содержание

Юрий Лунин	6
Через кладбище	7
Под звёздами	16
1	16
2	20
3	21
4	23
5	25
6	27
7	32
8	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Юрий Лунин

Святой день

© Юрий Лунин, 2017

© Интернациональный Союз писателей, 2017

Юрий Лунин



Родился в 1984 г. Прозу пишет с 17 лет. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Лауреат литературного конкурса «Facultet» (2009, 2010). Лауреат российско-итальянской литературной премии для молодых авторов «Радуга» (2012). Стипендиат Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ (фонд С. А. Филатова) по итогам XIV Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. В 2014 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «малая проза».

Публиковался в сборнике «Facultet», в литературных альманахах «5×5», «Тверской бульвар, 25», «Радуга», в журнале «Волга», а также в сетевых литературных изданиях «Литература» и «Молоко».

Живёт в деревне рядом с городом Ногинском, работает в такси. Женат, отец троих детей.

Через кладбище

Моему отцу и моему сыну

Мальчики во дворе играли в *сифу*: кого осалят грязной тряпкой – тот и будет сифа, пока не осалит кого-нибудь другого.

Один из ребят имел неосторожность угодить тряпкой в плечо самому высокорослому мальчику, который считался и самым сильным. Игроки сразу отбежали на другой конец двора. Обычно сифу принимались дразнить, но рослого не дразнили; никто не хотел стать его мишенью. Впрочем, ребята знали, на кого должен обрушиться его гнев.

Рослый подобрал лоскут с земли и медленно направился к луже. Там он пропитал его грязной водой, потом, взяв за уголки, отнёс в песочницу и извалял в песке, потом опустил в середину тряпки тягучий плевок и сложил её вчетверо. Всё это он проделывал умышленно неторопливо и старательно, давая ребятам время хорошенько проникнуться ужасом. И действительно: каждое его действие сопровождалось их тревожным переглядыванием. Никто не завидовал тому, в кого полетит такая тряпка. Этим несчастливцем был второй по росту мальчик – лет десяти, с круглым, не по-мальчишески красивым лицом. Он стоял в гурьбе ребят, иногда встряхивая головой, чтобы убрать волосы со лба.

Наконец рослый сорвался с места и, отведя руку для броска, побежал на ребят. Один, самый маленький, оцепенел от страха, но рослый не стал его салить, только поднёс тряпку к его носу. Как и предполагалось, ему был нужен только его обидчик. И вот рослый приблизился к обидчику и швырнул в него тряпку. Бросок был такой сильный, что ребята ахнули. Но обидчик пригнулся, и сифа, пролетев над ним, с чавканьем присосалась к бетонному забору, а потом комично сползла на землю. Ребята несмело посмеялись. Это разозлило рослого, он стал бросать часто, но всё менее прицельно и сильно. А обидчик как будто поймал вдохновение: он увёртывался от сифы в прыжке, пропускал её между ног, увиливал от неё, танцуя. Один из его маневров так запутал рослого, что у того заплелись ноги, он вытянулся в воздухе и упал, больно прочертив боком по песку.

Это было уже не смешно.

Рослый побагровел и с проступившими на глазах слезами, с рёвом понёсся на своего врага. Наверное, в эту минуту он жалел, что в руке его всего лишь тряпка, а не булыжник, которым можно разmozжить врагу голову. Но ярость ослепила его, а затем быстро лишила сил. Вскоре он уже стоял, уперев ладони в коленки, и тяжело дышал. Точно так же встал невдалеке его противник. Они поглядывали друг на друга без выражения и поплёвывали перед собой, рослый – мастерски, сквозь зубы, а обидчик – по-простому, лишь из подражания рослому.

Рослый взял себя в руки и пошёл на хитрость. Он разогнулся, прошёлся по площадке, заговорил с кем-то, будто решил забыть об игре, и вдруг пулей подлетел к противнику, швырнул в него тряпкой в упор и что было силы рванул прочь. Но противник умудрился поймать «сифу» на лету и моментально вернул её рослому в спину. После этого рослый перегорел окончательно. С деланным равнодушием бросив тряпку на землю, он вышел из игры. Теперь ему нужно было поддержать свой авторитет. Для этого он легонько побил кого-то из мелкоты, после чего деловито занял ребят новой игрой.

В это самое время из подъезда пятиэтажки вышел невысокий мужчина в кепке и старом плаще до колен. В руке он держал два ведёрка – побольше и поменьше. Среди мальчишек он отыскал глазами своего сына, негромко свистнул ему и, не оборачиваясь, пошагал со двора с какой-то усталой заботой на лице.

Обидчик рослого показал ребятам ладонь, сказал:

– Пока, пацаны, – и спортивной трусцой побежал за отцом.

Рослый не растерялся. Приказав ребятам вести себя тихо, он незаметно, на подлых цыпочках, догнал обидчика, хлестнул его наотмашь тряпкой по затылку и отбежал.

– Ха, вот ты и сифа! – показал он пальцем, схватился за живот и, откинув туловище, выдавил из себя смех: – Ха-га-га! Фу-у, сифа! Сифак! Прямо в голову сифу получил! Сифозный! Сифандос!

Сын постоял, задумчиво глядя то на тряпку, валявшуюся на песке, то на рослого, и, кажется, слёзы начали потихоньку зреть в его глазах. Но вдруг он махнул рукой и быстрее побежал догонять отца. «Си-фа! Си-фа!» – кричали ребята вдогонку.

Отец на ходу протянул сыну дождевую курточку и кепку. Сын оделся в лесную одежду и понёс своё ведёрко.

– Плакал, что ли? – спросил отец.

– Да не... – ответил сын, но голос у него дрогнул, и он рассказал отцу про «сифу». Вместо сочувствия, которое проявила бы мама, отец поставил перед фактом:

– Ты таких ещё знаешь сколько встретишь – у-у-у...

Это, конечно, не обрадовало, но почему-то успокоило сына, словно разговор теперь был не о людской обиде, а о каких-то природных неприятностях: крапиве, укусе насекомого, раскушенной ягоде, в которую, как оказалось, навонял клоп.

Вскоре они, как обычно, подходили к кладбищу.

Кладбище было ровесником леса, деревьев там росло много, и были они такие же высокие, как в самом лесу. Из-за этого кладбище называли лесным. А лес, примыкавший к нему, иногда называли кладбищенским.

Шагая по главной кладбищенской дороге, сын по привычке гулял глазами по именам и лицам на памятниках. Почему-то взгляд останавливался всегда на одних и тех же: Тихонов Тихон Флегонтович, Рабик Зинаида Львовна, Татихин Леонид Фёдорович... Сын узнавал их, как старых знакомых, но потом дома не смог бы припомнить ни одного имени.

Где-то в этой гуще крестов и ржавых оград затерялась могила его бабушки по отцу, могила отца отца, которого он видел только на фотографиях: дед умер, когда ещё сам отец был ребёнком. По многу раз за лето и осень отец ходил за грибами через это кладбище, но почти никогда не пользовался случаем зайти на дедову могилу. Он не считал, что кладбище – это место для общения с усопшими. Он всегда говорил, что общается со своим отцом, просто когда его вспоминает. Делать это можно где угодно, но чаще всего это происходит в лесу.

Переход от кладбища к лесу был нечётким. Люди ежедневно умирали, кладбище росло, росло, и не было возможности оградить его раз и навсегда. Поэтому всегда существовала подвижная полоса, где кладбищенский лес и лесное кладбище год от года не то боролись, не то сливались воедино.

Свежие, ещё не огороженные могилы торчали в глубине леса, поодаль от остальных, взрывами песка и мусорным нарядом венков. Казалось, некто, выступающий на стороне кладбища, нарочно клал некоторых покойников поглубже в лесу, чтобы образовавшийся между ними и остальными промежуток леса заранее присвоить кладбищу. На этом промежутке природа ещё оставалась собой – обильно плодоносил черничник, попадались необыкновенно крепкие моховики, а иногда и подосиновики, – но человек уже чаще всего брезговал этими дарами природы как принадлежащими смерти, а не жизни, потому что впереди, словно часовые в чёрных портупях, зловеще торчали могильные венки.

Кладбище постоянно наступало.

Но и лес не бездействовал: он выбирал забытые людьми могилы, покрывал их малиной, крапивой, утапывал дождями, так что от могил оставались лишь маленькие бугорки, неясно кем – человеком или природой – созданные. И нельзя было быть уверенным, что сладкая ягода, которую ты сорвал на таком бугорке, не напитана хотя бы отчасти мёртвым соком человека. И каждый раз, когда сын заходил в этот лес, он начинал думать о том, что подо всем, подо всем вокруг, в конечном счёте, лежат истлевшие человеческие тела.

Однажды, когда собирали грибы, сын заговорил об этом с отцом.

– Многая еда берётся из земли, правильно? А в земле всё больше покойников, ведь людей постоянно хоронят. Значит, получается, в еде тоже каждый год всё больше... ну, этого?..

Отца не столько испугали мысли сына, сколько обрадовала его рассудительность.

– Слушай-ка, а ты ведь интересную вещь сказал! Действительно, я даже помню, что в моём детстве у всех продуктов был другой вкус.

Потом отец неоднократно пересказывал знакомым и родным эту беседу, всегда показывая рукой высоту от пола:

– Представляете, вот такой вот – и заявляет! А ведь и действительно!

Кладбище осталось позади, но в каждой лесной кочке сыну всё ещё мерещилась забытая могила. Он всё ещё шагал по кладбищу, а не по лесу, и никак не мог почувствовать себя в лесу. В лесных ложбинах иногда встречались кучки мусора. Это был и бытовой мусор: банки, бутылки, пакеты, – и кладбищенский: полуистлевшие ленты, обломки деревянных крестов, пучки искусственной хвои, грязные пластмассовые цветы.

Время было не позднее, но на лес наплыли ненастные, тревожно-тихие сумерки. Сыну стало вдруг очень грустно и одиноко. И первый гриб, который он нашёл – польский, – показался ему больным, напитанным смертью, и сын не стал его срезать. А отец нагнулся и с небольшим довольным кряхтеньем срезал.

– Что ж ты не берёшь? Отличный полячок. Смотри-ка, и чистенький! Они сейчас, в основном, все червивые. Что ж, неплохо, неплохо.

И, замедлив шаг, отец стал внимательнее вглядываться в лес, иногда наступая на какую-нибудь грязную пластмассовую лилию и как будто не замечая этого.

Сын отвернулся, чтобы скрыть надавившую на его сердце жалость к отцу. Отец так по-детски был увлечён этими грибами, что совсем не думал о смерти, которая пролегает неподалёку и следит за ним.

Когда-то давно, пару лет назад, сын мечтал во всём опережать, побеждать отца. Когда ловили плотву – от души злился, что отец его облавливает. Когда ходили за грибами – чуть не плакал, если находил меньше отца. Бесился, проигрывая ему в шашки, пропуская от него гол...

Лишь в одном случае он спокойно принимал превосходство отца, и даже готов был из соперников перейти в оруженосцы: это бывало, когда они вместе отправлялись по берегу местной реки со спиннингом за священной рыбой – щукой. Плотвы и уклейки можно было наловить в любой день, а щука была другая: отправившись за ней, можно было вернуться домой с пустыми руками. Щука могла оторвать блесну, перекусить леску, она даже пахла не так, как остальные рыбы. Сын обожал её, но при этом побаивался и не решался ловить её сам. Поэтому на время охоты за щукой он с удовольствием отдыхал от постоянной гонки за первенством.

Однажды у отца клюнула очень крупная щука – крупнее, наверное, и не клевала ни разу. Ледяная дрожь прокатилась по коже сына, его пальцы согнулись в крючки у самого лица.

– Папа... папочка... давай... давай, миленький... ну... пожалуйста! – поднывал он, будто обращаясь к Богу.

Отец тоже страшно волновался, это было видно, но работал уверенно, сосредоточенно, и сын до слёз любил его в эту минуту.

– Папочка... миленький... хорошенький... ну давай же!..

Отец медленно вывел рыбину на мелководье, между ним и щукой оставалось расстояние в два шага, не больше. Сын видел её в воде, пятнистую, толстоспинную. Она устала от борьбы и затихла, как послушный человеку зверь. Ничто не выдавало её боли, её страха перед человеком и желания уйти в глубину.

– Иди сюда, моя хорошая... – сказал отец, и потянул к ней руку, слегка отведя для натяга спиннинг.

Вот уже древний морщинистый щучий нос поднялся над водой, вот уже показались зубы в раззявленной пасти, и вдруг она мотнула жёлтым подбородком, дико обдала отца брызгами и исчезла с блесной и куском лески во рту – только тающий изогнутый след поплыл по реке... Отец проводил этот след глазами и ещё с минуту стоял неподвижно на полусогнутых ногах, увязнувших в береговом иле. Запах живой щуки – любимый запах сына – ещё какое-то время жил в воздухе, и лишь когда этот запах испарился, отец выпрямился, таинственно поглядел на сына, достал из кармана коробочку с блёснами и, слеповато глядя в неё, стал перебирать пальцем блестяшки, чтобы выбрать новую блесну. Перебирал он их неестественно долго.

– Н-да... неплохая была щучка, – сказал он, наконец, между делом.

Выражение «неплохая щучка» страшно разозлило сына. Зачем строить из себя такого спокойного, когда надо рухнуть на берегу и извиваться от горя червяком, кусать землю, выдирать с корнем пучки травы?

Сын отошёл от берега в молодой березняк и там сильно поколотил кулаками берёзу – берёзе ничего, а у него содралась кожа на костяшках и выступила сукровица. Поэтому дальше бить он не стал, а просто упал на колени и заскулил от бессильной ненависти – к берёзе и к щуке, которые были частью одной природы, посмеявшейся над ним.

Затем он вернулся на берег. Отец швырял блесну в то место, где клюнула сорвавшаяся щука. Сын понимал наивность этих швыряний, но добрых полчаса пронаблюдал за отцом, так же, как и он, надеясь на чудо. Но чуда не происходило.

– Всё, хватит уже, пошли домой, – властно сказал сын. – Что, думаешь, она такая дура, что клюнет у тебя ещё раз?

Но отец продолжал швырять.

– Говорил я тебе, что надо всегда брать с собой подсачек! – Тут сын уставил руки в боки и с настоящей ненавистью, исказив лицо и голос, изобразил глупого отца, отвергающего подсачек: – «Не-е-еть, зяче-е-емь? И так достя-анемь». Ну, и чего ты достал? Ничего ты не достал! – Тут голос у сына задрожал. – Сорвалась – и всё!

Отец быстро глянул на него и снова забросил блесну.

– Пошли, говорю, домой. Хватит тут ерундой заниматься.

– А может, дальше по берегу пройдемся? – спросил отец. От растерянности и чувства вины он согласен был поступить, как скажет сын. – Дойдем до мостика, до камышей. Не эту, так, может, другую зацепим? Или окунька хорошего, как в тот раз?

– Да какой теперь окунёк – после такого позора!

– Всё, пошли, пошли, – сказал отец и быстрым движением зацепил блесну за кольцо спиннинга. – А то так и будешь бурчать.

По дороге домой глубокий траур не сходил с лица сына. Отец шагал впереди. Его походка, штаны, куртка, его неизменная военная кепка, весело сдвинутая набок – всё раздражало сына.

– О! Смотри: жар сидит, – вдруг остановился отец и указал концом спиннинга на огромную стрекозу. Её туловище было раскрашено чередованием поперечных полосок – рыжей и красно-коричневой. Бывали точно такие же стрекозы, только с бледно-голубыми и тёмно-бирюзовыми полосками. Их можно было бы назвать «холод», но почему-то их тоже называли «жар».

Жар – осторожная и быстрая стрекоза, поймать её считалось большим почётом. Этот же подпустил отца совсем близко, будто предлагал себя в утешение за щуку.

– Спит, наверное, – сказал отец негромко. – Смотри, какой красавец. Поймать тебе?

– Да пошёл он, твой жар, – буркнул сын и пошагал вперёд отца.

Через несколько минут отец поравнялся с ним и заговорил:

– Сынок, если ты считаешь, что я меньше тебя хотел поймать эту рыбу, то ты глубоко заблуждаешься. Я сделал всё что мог. Как меня учил мой отец, так я и сделал. Просто она сорвалась. Это рыбалка, понимаешь? А не рыбный магазин.

Отец положил руку на плечо сыну:

– Ты не переживай. Сегодня она нас победила – а завтра мы её!

Сын отдёргнул плечо.

– Завтра понедельник! Теперь только через неделю на эту чёртову рыбалку опять пойдём. И то я не пойду, потому что у тебя всё срывается.

– Ну тогда ладно, – сказал отец. – Я один пойду. Вырастешь – будешь сам ловить, и ничего у тебя не сорвётся.

– Ну и буду.

Тут и отец не вытерпел:

– А пока – чтоб я от тебя слова больше не слышал! Иди и сопи в две дырочки!

Отец быстрее пошёл вперёд, а сын снова с раздражением глядел на его штаны, рубашку, военную кепку. Он вспоминал рассказы рослого. Папа рослого ездил на рыбалку редко, раза два в год, и рослого с собой никогда не брал. Зато он ездил куда-то на Ахтубу, где водятся гигантские сомы и сазаны, а щуку, говорят, и вовсе не считают за рыбу. На такой реке просто невозможно остаться без улова, на ней рыбак чувствует себя успешным, сильным, самодовольным. И именно таким – успешным и сильным, с трофеем в руках и с улыбкой на лице – сын видел в эту минуту папу рослого. А своего отца он жестоко обзывал про себя неудачником, ведь отец не поймал даже ту рыбу, которую считают сорной на Ахтубе...

Отец, пригнувшись, обходил сосну: смотрел, не найдётся ли ещё поблизости польских. А сын глядел на него и вспоминал о тогдашнем походе за щукой. Он часто о нём вспоминал, и всегда ругал себя за испытанную ненависть, но сегодня готов был просто зарыдать от стыда и горечи.

Как он мог! Надо было обнять отца, надо было сказать ему, что он прекрасно всё делал. Да он, можно считать, что поймал эту щуку, просто леска не выдержала, и это ведь действительно рыбалка, а не рыбный магазин! Ничего, пап! Не в этот, так в другой раз её достанем! Не эту, так другую возьмём. Сегодня она нас, а завтра мы её. И ведь всё равно здорово сходили. Давай попробуем жара поймать?..

Как он посмел обидеть отца! Ведь когда-нибудь отец постареет и умрёт, его положат в яму на этом вот кладбище и забросят землёй. Забросали же всех этих людей, забросали же дедушку...

Сын понял, что больше не хочет быть лучше, сильнее отца. Наоборот, во всём он хотел видеть его превосходство, его силу, его способность жить ещё долго и быть недостижимым для смерти.

Отец нагнулся над семейкой лисичек. В это время сын увидел в шаге от него крупный белый гриб. «Вот и хорошо, – подумал сын, – сейчас он заметит гриб и обрадуется». Но отец

не заметил. Он побросал свои лисички в ведёрко и, довольный ими, пошёл дальше, ударив по белому сапогом.

– Ну что ж, для начала очень даже неплохо, – сказал отец.

Сын не стал ничего говорить про белый и стал с тревогой наблюдать за отцом. Как он мог не заметить гриб? Неужели он стал хуже видеть? Неужели стареет? Неужели сын теперь грибник лучше него? Ведь ещё пару лет назад отец казался ему настоящим хозяином леса, когда смешно, сказочно настораживался и подзывал к себе сына.

– Чую я, сынок, что совсем рядом растёт какой-то очень хороший гриб, но сам я что-то его найти не могу. Может быть, у тебя получится?

Это теперь сын понимал, что отец просто наводил его на гриб. А тогда он принимал эту игру за чистую монету и начинал ходить вокруг отца, бросая подозрительные взгляды на каждую былинку. И вдруг сердце его забивалось в припадке радости – подосиновик или белый!

– Вот это да! – дивился отец. – Вот это сынок! Я бы ни за что не заметил!

Был у отца и другой фокус. Говорит:

– С меня по дороге кепка слетела, а я забыл поднять. Принеси, пожалуйста. Она во-он там около тропинки валяется.

Уже что-то предчувствуя, сын несётся к кепке стрелой, поднимает её, а под ней – вот это да! – тоже красавец-подосиновик или белый!

– Эх ты, папа, совсем ничего не видишь! – радовался сын, показывая отцу чудесный гриб.

– Старый, наверное, становлюсь, – говорил отец, пожимая плечами, и эти слова совсем не огорчали сына. А сейчас сын подождал, пока отец скроется из виду, и подошёл к грибу. Гриб не был раздавлен, только помят. Сын взял его и побежал к отцу.

– Пап, представляешь, я сбил ногой белый, а так бы я его даже не заметил.

– Что ж ты, – спокойно сказал отец. – Надо повнимательнее.

Он с большим уважением к грибу счистил ножичком землю с ножки и вручил гриб сыну.

Сын не понимал, правильное ли это чувство – жалость к отцу.

Взять, например, того же рослого. Тот, кажется, совсем не жалеет своего папу. Бывает, его папа возвращается с работы, позвякивая гаечными ключами в чёрной сумке, висящей на плече, и присаживается у подъезда на скамейку, чтоб выпить банку пива и выкурить сигарету. Рослый, как только завидит его, тут же бросает все игры и бежит с ним боксировать. Метит в живот, в лицо, в пах, и ведь бьёт не понарошку, а всерьёз, хочет сделать отцу как можно больнее. Да и отец не даёт ему спуска. Нет-нет да и раззадорит тычком в ребро или в подбородок. Один раз до слёз довёл – своего же сына!

Он не любил эту игру и смотрел на неё издалека с тревогой, а остальные ребята наблюдали за ней с завистливым азартом и в конце концов не выдерживали – обступали скамейку и робко спрашивали, нельзя ли и им попробовать подраться. Папа разрешал, и ребята по очереди нападали на него. Иногда он ловил своей большущей ладонью чей-нибудь летящий в него кулачок и одним круговым движением заламывал маленькому противнику руку. Противник тут же сгибался, едва не чиркая носом по асфальту, и все ребята смеялись, а папа, туша свободной рукой сигарету, спокойно спрашивал:

– Та-ак, а сейчас – как мы выкрутимся? Никак. А всё почему? Потому что удар должен быть быстрый: хоба! – и сразу руку на место.

Потом рослый предлагал:

– Пап, а давай мы с тобой вдвоём, а они все вместе?

Но папа уже ставил на асфальт допитую банку и уходил в подъезд. Ребята обсуждали приёмы, которые он им показал, и пробовали их друг на друге.

Сыну это было неприятно и неинтересно, он уходил домой.

В лесу темнело и темнело, как будто небо постепенно смыкало больные глаза. В синеватом сумраке гнездились на земле следы чьей-то забытой жизни: то попадался на пути одинокий кроссовок, поросший мхом, то испачканные красной краской (или окровавленные?) тряпки, то ржавый остов детской коляски, то рука пластмассовой куклы. Сын глядел на всё это с тоской, которую не мог объяснить. Ему хотелось вернуться в прошлое и просмотреть моменты, когда эти предметы были оставлены здесь. А ещё хотелось узнать, где теперь их бывшие хозяева. Живы ли они? Почему-то казалось, что нет.

– Загадили весь лес, – ругнулся меж тем отец. – Поймал бы – яйца поотрывал.

Сын улыбнулся: бодрым, бойцовским словом отец напомнил о жизни в этом тоскливом, говорящем о смерти лесу. И даже какая-то птица, которая прежде молчала, деловито ответила ему с вышины: «Си-тю». Сыну захотелось, чтобы отец сказал ещё что-нибудь, и вскоре его голос раздался снова.

– О, – спокойно сказал он, глядя куда-то вверх. – Кажется, это *они*.

Сын поднял голову. На старой берёзе, на высоте нескольких метров, громоздилось целое облако опят.

– Надо палку длинную подыскать и сбить их, – предложил сын.

– Зачем палку? Палкой мы их сильно повредим, – отвечал отец, не сводя глаз с опят, как будто без его присмотра они могли спорхнуть с берёзы. – Давай! – скомандовал он вдруг решительно и стал на четвереньки около дерева.

Сын тяжело вздохнул. Ведь это означало, что он должен встать ногами отцу на плечи. Он сейчас как никогда прежде был против этой затеи – топтать отца, который, скорее всего, уже начал стареть.

– Пап, может, не надо?

– Надо. Давай, – произнёс отец откуда-то из корней берёзы, и сын понял, что если откажется ещё раз, отец может и прикрикнуть. Дрожащими ногами он встал ему на плечи. Отец начал подниматься, а сын сосредоточенно вникал в поведение всех его мышц – много ли в них ещё осталось силы для жизни?

– Достать? – спросил отец, став в полный рост.

– Нет. Сантиметров двадцать не достаю. Опускайся, пап, давай всё-таки лучше палку найдём.

– Вставай на голову мне, – не слушал отец. – Вставай, вставай.

– Пап, я не...

– Вставай, я кому говорю! – рявкнул отец, и сына это обрадовало, потому что немного отвлекло от жалости.

Сын поставил на голову отцу трясущуюся ногу, бережно перенёс на неё вес тела и принялся нервно ощипывать берёзу, отбрасывая опята куда попало.

– Не бойся... Не торопись... – говорил отец, громко дыша. – Не рассыпай далеко...

Наконец, дело было сделано. Отец, красный от напряжения, стряхнул с себя берёзовую труху, поправил кепку и стал, ползая на четвереньках вокруг берёзы, собирать опята.

Сыну вдруг захотелось подойти к нему и сказать что-то важное. Но отцу было так хорошо среди грибов, что сын боялся нарушить его радость. К тому же, он не знал, с чего начать. На природе они с отцом никогда не говорили ни о чём важном. Точнее, важным становилось другое – грибы, ягоды, рыба.

Дома отец, как правило, маялся. Всё приходилось думать о работе, о деньгах, которых хватит ли на жизнь? Из телевизора постоянно сочилась какая-то вязкая гадость, она обволакивала отцу голову и делала его раздражительным, и отец искал пультом фильмы, в которых один простой и хороший человек объявлял войну сотне плохих и побеждал в этой войне, ненадолго разрешая все душевные противоречия зрителя. А насмотревшись этих фильмов, отец уже был доволен, что пришло время спать.

Настоящим человеком он чувствовал себя только на природе.

Он любил природу страстно и без лишней романтики. Охотник в нём преобладал над созерцателем. При хорошем клёве он забывался настолько, что держал у себя в губах нескольких извивающихся червей, чтобы, поймав очередную рыбу, не тратить время на поиск нового червяка в банке. В такие минуты бесполезно было что-нибудь спрашивать у него, о чём-то ему рассказывать. Он не слышал. Он пронизывал взглядом таинственную тёмную гладь и напряжённо кивал головой, помогая поплавку поскорее утонуть. Он говорил, что рыбак должен представлять себя рыбой, которую хочет поймать.

Но и созерцатель, несомненно, в нём жил. Ведь любовался же он тогда, после упущенной щуки, спящим жаром. А однажды, когда на кончик его удочки (видимо, приняв её за ветку) сел зимородок, отец застыл и стоял не шелохнувшись, а поплавок всё нырял и нырял от поклёвок плотвы... Когда зимородок, наконец, спорхнул с удочки, отец медленно повернулся к сыну. В его глазах влажно дрожало счастье.

– Сынок, ты видел? Видел его?..

И сыну показалось странным и обидным, что этот человек уже сегодня вернётся в городскую квартиру, где ему так неуютно, где он будет снова считать деньги, ругать начальника, чиновников и, может быть, даже собственного сына, – а всё только потому, что его настоящая душа осталась на этом берегу.

Как-то сразу, без прелюдии первых осторожных капель, пошёл крупный дождь; будто кто-то очень долго молчал и вдруг заговорил, спокойно и надолго. Отец предложил встать под ёлку, подождать – вдруг скоро пройдёт?

Лапы у ели начинали расти высоко, но были длинными и спускались почти до самой земли, так что отцу и сыну сразу стало уютно под ёлкой, как в шалаше. Дождь ещё не начал протекать сквозь хвою, и было приятно стоять в сухости и слушать, как капли стучат по земле и растениям снаружи.

– Вообще-то, может, и надолго, – предположил отец, послушав, как уверенно, без перепадов шумит дождь. Вдруг его лицо осветилось какой-то хорошей мыслью, и он обнял сына одной рукой. – А ну и что. Грибков-то мы с тобой, сынок, уже успели набрать, правильно?

– Конечно, – ответил сын и тоже вдруг обнял отца обеими руками, и они молча стояли, обнявшись. Такое было между ними впервые. Они знали друг друга уже десять лет, и лишь сейчас дождь привёл их в место, где можно было поступить только так – обняться и стоять. Сын чувствовал, что сейчас отец не думает ни о грибах, ни о работе, ни о деньгах; сейчас он думает о том, что у него есть сын, и что это хороший сын. А сын думал об отце и уже не хотел ни о чём важном ему говорить. В его душе ещё жила грусть, но он чувствовал, что эта грусть не кладбищенская, она пройдёт, как проходит дождь.

Отец погладил сына по голове и легко, без горечи, вздохнул:

– Жалко, сынок, что твой дедушка так рано умер, и ты его не застал. Сейчас бы он обязательно стоял здесь с нами. Знаешь, как он тоже любил грибы собирать? У-у-у...

– И рыбу ловить, да?

– У-у-у-у...

И отец не в первый раз рассказал о своём детстве, о рыбалке на тогдашней, ещё такой чистой реке. Сын обрадовался этому привычному рассказу, потому что минута объятий была

для него слишком огромной и важной, чтобы длиться долго. Как обычно, он просил отца показывать размеры тогдашних окуней, ельцов, плотвы, и почти что видел между указательными пальцами отца живых рыбок. Они резвились в прозрачной воде, блестящие на солнце и весёлые, как само детство. Сын любил этих рыбок всем сердцем и благодарил их за то, что когда-то они послужили радостью его маленькому отцу и ещё живому дедушке.

Сидя на уроках, он ещё не раз положит свои указательные пальцы на край парты, чтобы снова отмерить ими плотву, ельцов, окуней, которых когда-то ловили отец и отец отца.

Под звёздами

Моему дорогому другу Сергею Чегре

1

В субботу днём заехал Олег. Обедать отказался.

– Правильно, – сказал отец, закинул в рот кусочек вкусной маминой стряпни и пошутил в своём стиле: – Все, кто кушают, говорят, помирают.

Мама взглянула на него с лёгким неосуждающим вздохом. Поспрашивала Олега о детях, о невестке. И с детьми, и с Оксаной всё было в порядке.

– Как там Михайло? – спросил Олег о том, для чего и приехал.

В разговоре с родственниками он привык в шутку называть младшего брата этим внушительным именем, которое, по его мнению, меньше всего подходило настоящему Мише. Он не изменил своей привычке даже теперь, зная обо всём, что не так давно случилось с братом; может быть, он думал таким образом подбодрить родителей, показать им, что ничего не изменилось.

Мама вручила ему поднос с едой.

– Вот. Отнесёшь ему, заодно и поговорите.

– Привет, братик, – появился Олег с подносом в комнате, которая когда-то была их общей, потом принадлежала одному Мише, потом долго пустовала, а теперь вроде как снова стала Мишиной.

Ему привычно бросилась в глаза Мишина грамота за победу в районном забеге среди учащихся шестых классов. Время смело со стены десятки других грамот, вымпелов, плакатов, рисунков, журнальных вырезок, но этот клееный-переклеенный, похожий на древне-египетский папирус документ оно почему-то пощадило.

В нескольких местах грамота была запачкана бледно-коричневыми пятнами. Олегу хорошо было известно, что это за пятна.

Во время одной из ссор, причины которой никто теперь не помнил, он сдёрнул эту грамоту со стены и изорвал её в клочья на глазах у Миши. Миша бросился на брата с кулаками. Олег догадывался, что это может случиться, но он был старше на пять лет и не сомневался, что легко справится с шестиклашкой. Он рассчитывал поймать Мишину руку, заломить её так, чтоб Миша согнулся пополам и оказался носом у самого пола, и держать его в этом унижительном положении, пока тот не попросит прощения и пощады. Но ярость, которую он увидел в глазах «мелкого», на секунду парализовала его, и этой секунды как раз хватило, чтоб Миша подпрыгнул и достал его кулаком в челюсть. Удар вышел на удивление крепкий, Олег взбесился сам, замахал сильными кулаками во все стороны и удачно попал «мелкому» в нос. Настала тишина. Было слышно, как кровь капает на ковёр и обрывки грамоты. Олег надеялся, что этим всё кончится, и уже готов был предложить Мише платок. Но Миша утёр нос кулаком и, расписанный собственной кровью, как индеец, полетел на Олега с удеса-терённым, последним остервенением. Он издавал сквозь зубы полурёв-полуплач, который, наверное, был бы очень смешным, если бы не был в то же время таким страшным. В его глазах читалось одно: убить врага любой ценой.

Слава Богу, отец был дома. Он вбежал в комнату, кое-как отодрал младшего от старшего и всыпал, несмотря на очевидную Мишину кровопотерю, обоим, пообещав, что всыплет сильнее, если такое повторится.

Братья разбрелись по углам комнаты. Миша положил на стол альбомный лист и стал приклеивать на него окровавленные обрывки, восстанавливая грамоту.

– Сейчас ты склеишь, а я возьму и снова порву, – не удержался Олег. Он почему-то чувствовал себя проигравшим и не хотел признавать поражение.

Не прерывая своего занятия и даже не повернувшись к брату, Миша спокойно отвечал:

– А ночью, когда ты будешь спать, я возьму на кухне нож, приду и зарежу тебя.

Услышав последние слова, Олег настолько растерялся, что невольно пошёл на шаг, унижительный для него как для старшего.

– Хочешь, – сказал он, – чтобы я пошёл и рассказал отцу, что ты сейчас сказал?

Миша продолжал клеить, иногда шмыгая распухшим носом.

– Иди. Но я тебе сказал: тронешь грамоту – зарежу.

Олег только и смог, что хмыкнуть, но это не избавило его от чувства поражения.

Отреставрировав грамоту, «мелкий» щедро обмазал её сзади «моментом» и намертво приклеил к обоям...

Сейчас тридцатилетний Миша лежал под этой самой грамотой на неразложенном диване, одетый в клетчатую байковую рубашку и накрытый до пояса клетчатым одеялом. Услышав Олегов голос, он опустил на колени книжку «Маленький принц», и Олег увидел его лицо.

Олег не видел брата с полгода, если не больше. А до этого не видел ещё с полгода. А до этого ещё, и ещё. И каждый раз он обнаруживал его в каком-то новом облике. Это касалось и внешности, и манеры поведения. То Миша был тощим, как заключённый концлагеря, и злым на язык, – то представлял пополневшим, румяным, стыдливым, как девушка, и во всём соглашался с собеседником; то он напоминал пьющего лесника своей окладистой бородой, усами, за которыми не видно было рта, и немытыми волосами до плеч, – то искоренял на голове и на лице всю растительность не исключая бровей и ресниц. Олег неизменно удивлялся этим перевоплощениям, но никогда не пробовал дознаться, с чем они связаны. Он вообще редко говорил с Мишей по душам и считал, что проявляет таким образом уважение к его личной жизни. По большому счёту, он действительно уважал эту жизнь.

Миша и на этот раз был новым. Но, видимо, время пошло на какой-то более крупный виток, и Олег заметил нечто новое уже в самой этой новизне: в ней не было привычных признаков метания из края в край; это была какая-то неестественная для Миши середина, среднее арифметическое всех прежних Миш. Волосы ни короткие, ни длинные; слегка вздыбленные на затылке от постоянного Мишиного лежания, но в целом создающие впечатление опрятной шапки. Густые, но не запущенные усы. Борода, явно облагороженная отцовским триммером. Не толстый, но и не худой. Глаза не бросают вызова, но и не теплятся приветом; они смотрят устало и тускло, и тени под ними – нехорошие, с желтизной.

Олег поставил поднос на стол и сел на табурет около брата.

– Как тебе? – шутливо кивнул он на Экзюпери, не сомневаясь, что брат читает эту книгу не впервые.

Миша откинул одеяло, сел и потёр основаниями ладоней глаза. Олег увидел на его ногах шерстяные носки – ещё один странный сюрприз.

– Тоска лютая, – сказал Миша. – Как я это в детстве читал? – И, подумав, сам ответил на свой вопрос: – Вот так и читал...

– А зачем тогда перечитываешь? – поинтересовался брат.

– Да... – Миша как-то искусственно зевнул. – Мои все книги на съёмной хате остались. А тут... Ильфа и Петрова уже три раза прогнал. Конан Дойла с Жюль Верном, «Мушкетёров» со всеми прилагаемыми «годами спустя». Не Драйзера же теперь штудировать – двенадцатитомник. А шелестеть чем-нибудь нужно. Вот и приходится...

Братья помолчали.

– Нормально ты выглядишь, – сказал Олег таким тоном, будто все вокруг утверждали, что Миша выглядит плохо.

Миша помял шею под затылком, два раза с лёгким хрустом качнул головой от плеча к плечу.

– Как тут ещё будешь выглядеть? Матушка и кормит на убой, и укутывает, как пупсика, и таблетку подносит по будильнику. Хорошо ещё, до туалета разрешает самому доходить.

– Ясно, – сказал Олег и, выдержав паузу, спросил: – Хреново было?

– А ты как думаешь? – не сразу ответил Миша. – Приятного мало.

– Страшно?

Брат снова подумал.

– «Страшно», в данном случае, не совсем подходящее слово. Там как-то не до страха уже. Барахтаешься просто непонятно где, ни хрена не понимаешь, а когда удаётся вынырнуть на секунду, то только и думаешь: скорей бы уж куда-нибудь – туда или сюда.

– Понятно. Что теперь делать собираешься?

– А хрен его знает. Пока вот так.

Олег от нечего делать взял книжку. Она была раскрыта на изображении планеты алко-голика. Олег положил книжку на место.

– С выпивоном, с куревом – всё? На веки вечные?

– Сказали, что да.

– Грустно?

Вместо ответа Миша едва заметно махнул рукой. Он взял с пола литровую банку с водой, отпил из неё немного и поставил на место. Потом посмотрел на свою подушку, стукнул по ней по-старчески пару раз, медленно оторвал от пола ноги и перенёс их на диван, одновременно уронив на подушку голову; затем натянул на себя одеяло и повернулся на бок, лицом к брату, подложив под щёку ладонь.

– Ты извини. Что-то я в последнее время частенько стал подмерзать. Ты лучше о себе что-нибудь расскажи. У меня новости, сам видишь какие.

– Да что о себе... – сказал Олег. – Вот через месяц снова поеду на звёзды глазеть. Как это ты говоришь? Телескопами меряться.

Миша едва заметно хмыкнул.

– Куда на этот раз? Опять в Португалию? Или теперь в какую-нибудь Гватемалу?

– Нет, – ответил Олег бодро. – Ты знаешь, на этот раз всего лишь под Рязань.

– Никак и над родиной зажглись приличные светила? – спросил Миша, и лицо его на мгновение осветила хорошая, юношески чистая улыбка. Олег вообще заметил, что на фоне общего упадка в брате странным образом стало проглядывать что-то детское, давно забытое.

– Да нет, – сказал Олег, – светила везде одни и те же. Просто зашуганные все какие-то стали. Порют горячку насчёт инфляции, опасаются лишних расходов. Короче, решили на этот раз без фанатизма, поближе к дому.

– Какие предусмотрительные. Звёздное, значит, небо над головой...

– Да-да, и бухгалтер внутри нас, – закончил Олег Мишину шутку. Как собирався её закончить сам Миша, осталось неизвестным.

– Ты это... – замялся немного Олег. – Через месяц-то оклемаешься более-менее? А то поехали со мной, если хочешь. Грустно на тебя такого смотреть. Долбанутым ты мне больше нравился.

Миша долго глядел застывшим взглядом куда-то в Олегово колено, а потом обратил этот взгляд прямо на него. Олег знал и очень не любил этот взгляд. В этом взгляде Мишины глаза, казалось, переставали служить тем отображением человеческих мыслей и чувств, за которое их прозвали «зеркалом души», и становились просто белыми шарами, торчащими из своих углублений. Весь мир Олега – мир выверенный и прочный – пошатывался при взгляде

этих безумных шаров. Всё привычное, само собой разумеющееся являлось в их присутствии безнадежно странным, и Олег бессознательно стремился поскорее прервать это наваждение.

– Эй, ты чего? – произнёс он те слова, которые и всегда произносил в таких случаях. Они всегда помогали, помогли и теперь.

– Прости, – будто проснулся Миша. – Я слушал тебя. Говоришь, через месяц? Посмотрим. Может, и съезжу. Правда. Если буду в форме... – Он вдруг помассировал сердце. – Слушай, ты там матушку позови. Что-то она на удивление долго таблетку не несёт.

Олег пошёл за мамой. Оказалось, таблетки лежали на подносе с едой.

2

– Ну ты как? – звонил Олег через месяц, в конце августа. – Способен составить компанию? Я про слёт, астрономический. Если ты, конечно, помнишь.

– Помню.

– В таком случае сообщаю порядок действий: выезжаем завтра – там ночуем – после завтра возвращаемся.

– У меня денег ноль, – сказал Миша.

Видимо, Олег догадывался, что брат заговорит о деньгах.

– А-а, ну тогда ладно, – сказал он с деланным сочувствием. – Тогда оставайся дома, братишка. Всего хорошего, не болей.

– Пока, – сказал Миша, но остался на линии.

– Прекращай балаган, – произнёс Олег серьёзно. – Едешь, нет?

– Надо подумать.

– «Подумать» – это у тебя значит «нет». Ну, ладно. Думай...

Олег сообщил, когда и откуда будет отходить автобус, и братья попрощались.

Миша поднялся с дивана и направился к окну, чтобы покурить и обдумать предложение Олега, но тут он вспомнил, что не курит; он ещё довольно часто об этом забывал.

Пришлось стоять у окна просто так, без сигареты.

С высоты тринадцатого этажа открывалась довольно широкая диорама промышленной Москвы. Во всей этой диораме Миша не мог найти ни одного уголка, через который не прошла бы хоть однажды пьяная траектория его жизни. С каждым элементом пейзажа, – будь то здание, телефонная вышка, скопление зелени или пустырь, пригорок или овраг, – было связано какое-нибудь воспоминание. Более того, едва ли не каждый из этих элементов имел своё оригинальное название: благодаря Мише и его друзьям даже самые ничтожные клочки пространства удостаивались отдельных топонимов. Мишиных воспоминаний хватило бы на целую книгу, главы которой назывались бы этими топонимами: «Воронья теплотрасса», «Мармеладовский дворик», «Пенсионный пруд», «Готический детсад», «Бычья беседка» и так далее. На форзаце Миша обязательно поместил бы нарисованный от руки план местности... Хорошая бы вышла книга. Несколько раз он всерьёз собирался за неё сесть, но всегда отказывался от этой идеи, потому что в любом письменном увековечении ему виделось преступление против того мимолётного и вечно ускользающего, что составляло для него главную ценность жизни. Каждый раз, глядя из окна своей комнаты на этот пейзаж, он склонялся к тому, что самым честным и правильным поступком с его стороны будет просто выйти на улицу. Он блуждал по пейзажу глазами, как бы вода пальцем по карте, и останавливал взгляд на том месте, куда его в данную минуту влекло наиболее сильно. Чаще всего это был «Волшебный пятачок» – небольшая круглая поляна, год от года приносявшая щедрый урожай галлюциногенных грибов, которых Миша, впрочем, не любил. Издали она казалась гладкой, как бильярдное сукно, и каждый раз, выходя из дома и направляясь к ней, Миша с волнением ожидал, что она окажется такой же гладкой и вблизи. Но поляна оказывалась совсем другой: высокая трава, кочки, разноцветный мусор, насекомые. Миша мог выпить не одну бутылку вина, сидя на «Волшебном пятачке» и размышляя об этом чуде пространства и зрения.

Теперь, вспоминая о нём, он даже не мог выкурить сигарету.

– Надо что-то делать, – сказал он вслух. – Надо как-то жить.

3

Мама опустила и разгладила по Мишиным плечам вздыбленный воротник ветровки и легонько хлопнула Мишу обеими ладонями по груди.

– Я надеюсь, ты сам всё понимаешь... – сказала она вместо напутствия.

– Несомненно, – ответил Миша и поднял воротник.

– Сядешь в автобус – отзовишься, пожалуйста. Хотя... – она подумала и махнула рукой. – Не забивай себе голову, я лучше Олега попрошу. Ты всё-таки товарищ не очень надёжный.

– Но я же на верном пути, правильно? – сказал Миша и, чтобы не расстроить маму этими словами, поцеловал её.

Он вышел из дома и пошёл к метро.

После больницы ему уже доводилось бывать на улице. Мама неотступно следовала указаниям врача и, дождавшись дня, который заранее отметила в отрывном календаре, стала изредка давать Мише мелкие поручения, связанные с выходом из дома: купить хлеба, заплатить за коммунальные услуги, отнести использованные батарейки в специальный пункт приёма (недавно она узнала о страшном вреде, который наносят человечеству эти батарейки) и ещё что-нибудь в таком роде. Миша даже успел завести себе одно уличное обыкновение: выполнив мамино поручение, он заходил в один и тот же ларёк с выпечкой, покупал ватрушку и чай, удалялся в один и тот же двор, садился на одну и ту же скамейку под каштаном и там перекусывал, рассматривая упавшие с дерева экзотического вида плоды. При совершении этого ритуала он неизменно испытывал одно и то же двойственное чувство: с одной стороны, он ощущал себя лёгким и чистым, будто ему лет пятнадцать и он только что вышел из бани, с другой – казался самому себе заключённым, которого вывели прогуляться на окружённую стальной решёткой площадку и вот-вот загонят обратно в барак.

«Взять убежать, запить снова, закурить. В последний заход...» – произносил он про себя, как заклинание, одни и те же слова, проверяя, не обнаружится ли в них на этот раз сила настоящего желания, и каждый раз убеждался, что никакого желания нет. Вряд ли он стал после реанимации сильнее бояться смерти; пожалуй, теперь он боялся её даже меньше, чем прежде. Просто там, в белокафельных стенах, в нём как будто умерла способность чего-нибудь по-настоящему желать.

Он зашёл в метро, где не был с того самого дня, когда случилось то, что случилось.

Покупка карточки, проход через турникет, шаг на эскалатор, – каждое из этих давно забытых действий обходилось ему учащением сердцебиения, так что, спускаясь на эскалаторе, он решил выпить дополнительную таблетку. Но едва он сошёл с эскалатора и сделал несколько шагов, как в его груди зашевелилось то, против чего таблетки были бессильны.

Он остановился. Кто-то врезался ему в спину, выругался, грубо отпихнул его к металлической перегородке, и Миша остался там, куда его отпихнули.

– Вот оно, – произнёс он тихо. – Опять.

На оба перрона одновременно прибыли поезда, и сквозь решётку из гранитных колонн в зал с обеих сторон хлынула людская масса – «жиропоток», как называл её Миша. Эта картина всегда вызывала в нём непреодолимую тоску и тревогу. Когда он бывал трезв или находился в компании, это чувство можно было перетерпеть. Но несколько раз, когда он был пьян или под наркотиками и рядом с ним не оказывалось никого из друзей, он не справлялся с собой и совершал один и тот же довольно странный поступок. Нет, он не прибежал к нему предусмотрительно, как к хорошо проверенному методу. Каждый раз он заново проходил внутренний путь, неизбежно приводивший его к этому поступку.

Миша заходил в середину набитого людьми вагона и посреди какого-нибудь длительного перегона расслаблял все свои мышцы и падал на пол как придётся. Люди испуганно

расступались, кто-то возмущался: «Да от него спиртным несёт как из бочки». Но находились, конечно, и сострадающие, которые трогали Мишино запястье, почему-то никогда не обнаруживали пульса и кричали на весь вагон, требуя к месту происшествия медика или пассажира с лекарствами.

Миша лежал и слышал над собой голоса десятков незнакомых людей. Он с трудом разбирал слова, но знал наверняка, что эти люди говорят о нём, и всем теплом своей души любил их за это, и любовь вытесняла из его сердца тоску. Мише не было стыдно перед людьми: он и сам начинал верить, что упал не нарочно.

Вскоре чьи-то руки раздвигали его безвольные челюсти и сыпали ему на язык что-то горькое, а иногда сладкое, а иногда давали понюхать нашатырь. Миша, будучи не в силах скрыть своей любви, тянулся к этим рукам губами, и люди смеялись, видя, что человеку лучше. Затем его аккуратно поднимали и усаживали на специально освобождённое для него сиденье.

В предпоследний раз, когда он проделал свой номер и был водружён на сиденье, он с трудом разомкнул глаза и увидел внимательное лицо женщины, которая сидела рядом с ним и держала его руку в своих тёплых ладонях. На её груди лежала перекинутая через плечо толстая коса с пепельными прядями. Женщина была худая и стройная, в облегающих джинсах и молодёжной матерчатой курточке с капюшоном. Всё в ней было от восемнадцатилетней девушки, кроме нетронутого косметикой лица, на котором лежали честно говорящие о возрасте морщины; ей было, наверное, не меньше пятидесяти. Это несоответствие делало её облик необычным, запоминающимся; оно как бы предлагало каждому, кто глядит на женщину, выбрать, что именно в ней неестественно – лицо или всё остальное. Но Миша не ощутил неестественности ни в чём. Наоборот, он отметил, что морщины очень украшают женщину, умно собравшись на лбу, нежно обступив губы, окружая веером тонких лучей добрые, исполненные покоя глаза.

Женщина улыбнулась Мише, и он почувствовал, как тихое счастье опустилось на его сердце подобно лёгкому прохладному покрывалу.

«Как хорошо, – сказал он себе. – Ничего больше не надо».

Он подумал тогда, что если бы рай действительно существовал и заключался в одном непрерывном взгляде этих участливых и доброжелательных глаз, он сию же минуту оставил бы эту жизнь и отправился в этот рай.

Женщина вышла на следующей же остановке.

Он часто потом вспоминал её улыбку.

А в последний раз, когда он свалился в вагоне, с ним случилось то, что случилось.

4

Миша с облегчением выбрался из метро и через пять минут ходьбы увидел примкнувший к обочине фирменный автобус. Миша остановился, чтобы закурить, но снова вспомнил, что с сигаретами покончено, и решил просто постоять немного на месте.

Пассажиры фирменного автобуса, одетые, в основном, в милитаристском стиле, бодро укладывали в багажное отделение жёсткие лакированные кофры и над чем-то, не переставая, смеялись. Миша решил, что они смеются над контрастом между Рязанью и Португалией. Рядом с ними крутились, играя в салки, пятеро или шестеро детей; мальчики тоже были одеты в камуфляж, девочки – в спортивные костюмы. Одежда была новенькая и сидела на детях прекрасно, купленная явно не на вырост, а точно по размеру.

В небольшом отдалении от общей суеты стоял Олег, а рядом с ним – маленькая девушка с недлинными прямыми волосами, неприметным носатым лицом и очень широкими бёдрами. На общем фоне её наряд выглядел странно: варёные джинсы в обтяжку, длинная белая водолазка, натянутая на бёдра почти до колен, и лоскутный замшевый жилет, который едва доходил до уровня груди. Этот туалет могли бы, наверное, оправдать резиновые сапоги или кеды, но вместо них на девушке были красные лакированные туфли.

Девушка занималась тем, что щекотала пальцами обеих рук неподвижно висевшую Олегову ладонь. Иногда Олег сжимал ладонь в кулак, и девушка резко отдёргивала пальцы. В этом состояла их нехитрая игра, устав от которой Олег сплёл руки на груди и отставил ногу. Его спутница постояла пару секунд в растерянности, затем натянула водолазку ещё ниже на бёдра и в точности повторила позу Олега, но не смогла пробыть в ней долго; повторив действие с водолазкой, она совместила на асфальте ступни ног и стала переступать с пяток на мыски, разглядывая свои туфли. Одного короткого взгляда Олега в её сторону было достаточно, чтобы она бросила и это невинное занятие и начала бессмысленно глядеть по сторонам, что-то делая со своими ногтями. Она явно ощущала себя не в своей тарелке.

Брат же, напротив, смотрелся солидно: уверенная, полная достоинства стойка, неброская, но дорогостоящая одежда – разумеется, не спортивная и не камуфляжная: джинсы, куртка, ботинки из коричневой кожи. Олег был на две головы выше девушки и, казалось, на столько же голов возвышался над вознёй своих товарищей по астрономическому цеху. Его можно было принять за руководителя предстоящего мероприятия, а может, за почётного гостя, – в общем, за того человека, без которого это мероприятие имело бы самый смешной и беззащитный статус.

Заметив Мишу, Олег оставил девушку и направился к брату.

– Ты чего там партизанишь? – протянул он руку. – Застеснялся, что ли? Ты молодец; я был уверен, что останешься дома прозябать. Как твой первый выход в мир?

– По-разному, – ответил Миша и кивнул в сторону девушки: – Оксана, я гляжу, сильно изменилась...

Олег дал ему шутливый подзатыльник.

– А я гляжу, что ты окончательно оклемался. – Он поглядел на брата с улыбкой, в которой пряталась маленькая просьба о понимании, и сообщил: – Это Лена. Надеюсь, у тебя хватит ума не ляпнуть ничего такого при ней. Ну и, разумеется, если что – я был один.

– Вас понял, – сказал Миша и всё-таки бросил из-за Олегова плеча ещё один изучающий взгляд на Лену. Олег смирился с тем, что без пояснений не обойтись.

– Поверь, – произнёс он убедительно и положил Мише руку на плечо, – эта девушка по ряду веских причин заслуживает того, чтобы поехать вместе со мной.

Миша посмотрел на брата пристально.

– Наверное, природа одарила её какими-то редкими способностями?

– О да. – Олег даже погрозил Мише пальцем. – Ты настоящий инженер человеческих душ! Но больше мы об этом говорить не будем. Давай ныряй в автобус.

Далеко не весь астрономический скарб уместился в багажнике. Миша довольно долго пробирался в конец салона, то и дело ожидая, пока очередной астроном-любитель закинет своё добро на полку и даст ему дорогу. Задний ряд, на котором Миша хотел расположиться, оказался уже завален рюкзаками; ему пришлось разместиться слева у окна на следующем от конца ряду. Он не стал забрасывать свой тощий рюкзачок на полку, а положил его на соседнее сиденье в качестве запрещающего знака для желающих подсесть. Минуту спустя в автобусе появились Олег и Лена. Между ними состоялось бессмысленно долгое и натянуто оживлённое совещание по поводу того, где лучше сесть. Миша со стыдом отвернулся к окну. Ему вдруг в одну секунду открылось, что между двумя этими людьми зияет бесконечная пропасть отчуждения и они хватаются за любую возможность утаить её друг от друга. Наконец они выбрали два места с правой стороны на втором от водителя ряду, уселись и тут же принялись нажимать на все кнопки, чтобы понять, как опускаются спинки сидений. Это занятие также сопровождалось многочисленными пустыми репликами. Но вот спинки опустились, и пара бессильно умолкла.

Неопределённого возраста коренастый мужчина в пёстром камуфляже, рассчитанном на маскировку в осеннем дубовом лесу, постучал по автобусному микрофону и, глядя в листок, начал переключку, которую сопровождал шутками и прибаутками. Миша ещё раз подумал о загадочной внутренней силе своего брата, который легко мог бы занять роль такого вот камуфлированного активиста, самозваного лидера, но предпочитает спокойно сидеть в кресле. Во всей этой любительской астрономии Олег явно видел что-то своё, не имеющее никакого отношения к командному духу и, вероятно, даже к романтике звёздного неба. Это *своё*, никому не доступное, было у него всегда, и Миша ценил его за это, видя в этом едва ли не главную черту объединявшего их кровного родства. В том, что рядом с Олегом была Лена, тоже было что-то *своё*.

Список подошёл к концу. Довольный тем, что его имя не прозвучало (как и имя Лены), Миша прислонился лбом к оконному стеклу. Автобус тронулся. Окна были тонированные; вместе с прохладой от кондиционера это придавало окружающей обстановке что-то вечернее. Автобус вмещался в пробку и продвигался вперёд нерезкими убаюкивающими толчками. Кто-то тихо и вкрадчиво рассказывал своему соседу о главных недостатках какого-то *экваториала*. Миша подумал, что есть во всём этом что-то приятное, давно забытое, и сладко забылся. В полусне ему представлялось, что движущийся автобус – это сама его жизнь. Ему было очень хорошо от того, что он наконец-то получил в этой жизни роль неприметного пассажира, сидящего на одном из задних сидений. Отныне никто и никогда не заставит его принимать решения, не потребует совершать поступки. Его роль – тихо сидеть и ехать туда, куда везут. И так будет всегда.

5

Его разбудило всеобщее оживление. По обрывкам фраз, по доставанию вещей с верхних полок стало понятно, что почти прибыли. За окном медленно проплывало неизвестное село. В салон фирменного автобуса просачивался запах банного дымка и птичьего помёта. Один раз водителю пришлось притормозить, чтобы дать перейти дорогу быку. Бык был совершенно чёрным, что послужило поводом для вполне ожидаемой шутиливой дискуссии на тему того, воспринимать ли это как дурное предзнаменование. Затем хор пассажиров под управлением коренастого активиста в дубовом камуфляже (он дирижировал, стоя в проходе) пропел от начала до конца песенку про чёрного кота, везде заменяя слово «кот» на «бык». Во время каждой такой замены по салону прокатывалась волна искреннего смеха. Миша не стал вытягиваться над спинками кресел и любопытствовать, участвует ли в этом действе Олег. Его внезапно охватила жалость ко всем присутствующим в автобусе людям. В этой жалости не было ничего надменного: он просто увидел, как люди веселятся от какой-то маленькой песни, и подумал о том, что все они умрут.

Село осталась позади, минут пятнадцать автобус преодолевал бугристую лесную дорогу. Немного закладывало уши: дорога довольно круто уходила вверх. Вдруг она выровнялась, водитель заглушил мотор, и по каким-то таинственным признакам, ещё ничего не разглядев за окном, Миша разом ощутил необычайный простор, окруживший автобус.

Выйдя на улицу, он обнаружил, что автобус остановился на ровной грунтовой площадке в паре десятков шагов от обрыва. Миша подошёл к обрыву. Вероятно, высота была не такой уж большой, но вид, который с неё открывался, придавал ей величие высоты птичьего полёта. Взгляд охватывал сразу несколько изгибов широко разлитой Оки – с вытянутыми лесными островами и многочисленными белыми плёсами. По ту сторону реки от самого берега и до самой дуги горизонта протянулась равнина: порыжевшие поля чередовались с голубоватыми полосками леса, которые местами загорались оранжевым. Время от времени по равнине с могучей скоростью прокатывалась тень одинокого облака.

Берег, на котором стоял автобус, был совершенно другим: по всей обозримой длине его усеивали холмы – гладкие и округлые, как молодые женские груди. Миша вообразил на вершине одного из этих холмов себя и вдруг действительно увидел там машущего руками человека: это был преисполненный энергии коренастый активист, который уже успел сбегать со склона и первым покорить один из холмов. Миша был крайне удивлён: человеческая фигура оказалась в несколько раз меньше, чем рисовало его воображение. Почему-то эта ошибка восприятия быстро привела его в волнение, если не в тревогу.

Овраги между холмами были заполнены берёзовым и осиновым молодняком. Деревья тоже выглядели неправдоподобно маленькими: казалось, каждое из них могло бы стоять на подоконнике в цветочном горшке. Это взволновало Мишу ещё сильнее. Он отвернулся от холмов и стал прохаживаться около автобуса, чтобы беспокойство оставило его.

Астрономы-любители ходили по площадке, разминая затекшие в дороге конечности, и иногда приближались к обрыву, чтобы сфотографировать вид. Дети снова играли в салки; величественная картина природы заняла их не сильно и не надолго. Олег и Лена снова стояли немного в стороне от остальных. Иногда брат протягивал руку вперёд, указывая девушке на что-то вдаль. Лена смотрела в направлении руки, прищуривалась, а потом с глупой улыбкой заглядывала Олегу в глаза.

«Она точно знает, что у него семья, – подумал Миша. – И согласна быть любовницей».

Поймав на себе Мишин взгляд, Олег, как и в первый раз, без предупреждения оставил свою спутницу и подошёл к брату.

– Ну? Что скажешь? – показал он на Оку.

– Видок что надо, – сказал Миша и с облегчением обнаружил, что беседа с братом лучше всего помогает ему справиться с беспокойством. Он даже решил сказать что-нибудь ещё, чтобы оно ушло окончательно: – Не Португалия, конечно, но...

– Так и знал, что ты обязательно пройдёшься по этой Португалии! – перебил Олег и коротким движением руки взлохматил Мишину голову. Затем, помолчав, сказал как будто совсем нестати: – Ты, главное, не тоскуй. Сегодня побудем – завтра назад. У тебя сейчас какая цель: выбраться из четырёх стен, свежим воздухом подышать. Все эти ряженные – ты на них особого внимания не обращай. Ходи потихоньку на своей волне, наслаждайся красотой. Надоест – зайди вон в автобус, ляг на заднем ряду (он длинный, вытянуться можно) и тупо поспи. Я сказал водителю, он тебя пустит в любой момент. Ночевать, я думаю, будешь там же. Спальник я тебе выдам; хороший, на лебяжьем пуху. Если и в спальнике будет холодно (ты же, говоришь, мерзлявый стал), то скажешь ему, чтобы печку включил. Вопросы есть?

Миша кивнул в сторону Лены:

– Ты бы спальник лебяжий для девушки приберёг. Человеку ещё детей рожать.

Олег вздохнул с шутливо-презрительной улыбкой.

– Вот стою и думаю, – сказал он, – с правой тебе двинуть или с левой?.. Змей ты ядовитый – вот ты кто. – Олег решил закруглить беседу: – Ладно. Сейчас народ разбредётся по холмам, пойдёт возня с аппаратурой. Я посмотрю: может, тоже займусь, а может, и не буду. Что-то нет настроения... – Он помолчал, видимо ожидая от Миши очередной ядовитой шутки, но не дождался и, как бы в знак благодарности за это, закончил умиротворённо: – Подыщу нормальное место, расставлю палатку, разведу костёр. Как пожарить сготовлю, наберу тебя. Будь на телефоне и не пропадай далеко...

Он вернулся к Лене, поднял с земли свой рюкзак, закинул на плечо и, дав девушке руку, не торопясь, повёл её вниз по склону, огибавшему обрыв. Воспользовавшись тем, что идёт немного позади своего кавалера, Лена успела бросить короткий взгляд на Мишу.

«Наверное, – подумал Миша, – он что-нибудь рассказывал ей обо мне. А может, и нет, и ей как раз интересно, что это за человек, к которому он уже второй раз от неё отчаливает».

В Мишиной голове пробежала ещё какая-то мысль о Лене, но он на этой мысли не остановился и быстро её забыл.

6

На вершинах семи или восьми холмов копошились смешные человеческие фигурки: астрономы-любители устанавливали площадки для своих телескопов и астрографов. Из глубины оврагов сквозь древесные заросли пробивались к небу ароматные струйки дыма. Видимо, там же, в зарослях, находились и расставленные палатки.

На весь обозримый простор опускался ясный вечер.

Миша сидел на траве у обрыва. Он испытывал сразу несколько желаний: покурить, выпить, найти девушку и провести с ней целую ночь, сделать что-нибудь такое, что астрономы запомнят надолго, обойти все заросли между холмами, побывать на вершине каждого холма, оказаться на другом берегу, пойти куда глаза глядят и, возможно, никогда не вернуться, – и думал о том, почему все эти желания кажутся ему проявлениями какого-то одного, главного желания и *что* это за желание. Этот вопрос уже около часа не давал ему двинуться с места.

Неожиданно к нему подсел шофёр – сухопарый мужик лет пятидесяти, – который до этого занимался мелким ремонтом своей машины. Он представился, стиснул Мишину ладонь в своей, огромной, и, заметив, что сделал Мише больно, извинился и сказал в своё оправдание:

– Гайку одну всё никак не мог на болт навернуть, всей дурью налёг, еле сдюжил; теперь вот силу свою не могу правильно дозировать. – Он достал из бокового кармана куртки прямоугольную изогнутую фляжку и вытащил из неё деревяшку, которая была там вместо пробки. – Даже вон флягу, видишь, похерил. Стал её сдуру по часовой открывать. Вроде, думал, не сильно кручу, а вот – отвинтил вместе с горлышком.

Он глотнул из фляжки, удовлетворённо выдохнул и полез во внутренний карман за сигаретами. Закурил.

– Завтра, кажись, после обеда выезжаем. Так что проспаться-продышаться время есть. Чего бы не выпить, правильно? Под такую-то красоту. Ни разу здесь не был.

Видимо, ковыряясь в автобусе, он надолго забыл о сигаретах, поэтому теперь курил с особым наслаждением.

– Да... – сказал он, махнув рукой. – Фляга – это так, для приятности. Вообще-то у меня целая канистра под сиденьем. У жены брат на конфетном заводе работает. Конфеты с коньяком – знаешь? Вот этот самый коньяк. Хорошая вещь, я тебе скажу. И наутро, главное, как ни в чём ни бывало.

«Только бы не предложил, – подумал Миша и заслонился внутренне от чувства неудержимой свободы, которое наступало на него подобно огромной волне. – К этому ведь ведёт».

Но шофёр оказался человеком довольно деликатным и прямого предложения не сделал.

На чистом небе проступили первые звёзды. Вместе с их появлением на холмах один за одним стали зажигаться фонари скупого красного света. Астрономы перекрикивались с вершин, и Миша на секунду ревниво позавидовал им: ему показалось почему-то, что сейчас для этих людей исполняется то самое желание, которое он испытывал, не умея выразить.

– Ты-то пойдёшь? – спросил шофёр и уточнил, изобразив при помощи гигантских ладоней и прищуренного глаза глядение в телескоп: – Светила разглядывать?

– Нет, – сказал Миша. – Мне они *так* больше нравятся.

Шофёр уважительно пожал ему руку, снова сильно, но уже не до боли. Видимо, он снова обрёл способность дозировать свою силу.

– Молодец, – похвалил он Мишу. – Мои мысли сказал. Тоже не понимаю: зачем это всё? Ну, увидишь ты их поближе, заметишь там какое-нибудь пятнышко – и что? Легче тебе

станет? Всё равно ведь ничего не понимаем: где мы находимся, зачем это всё, нужны мы кому-нибудь, видит нас кто, не видит. А *так* – просто небо. Русское, родное. Звёздочки смотрят. Речка течёт. Эх, хороша Ока... – сказал он мечтательно. – Лет бы двадцать пять сейчас скинуть да с какой-нибудь молодкой вон туда, на песочек, где деревце поваленное, видишь? Почему-то именно туда хочется.

– А что мешает сегодня? – спросил Миша.

– Нет, – поспешил с объяснением шофёр. – С этим-то всё в порядке. Просто... жена, дочка... внучок уже есть... Забудешься, пофестивалишь – а потом сам себя же и съешь. И начнётся: сердечко, то, сё. Не дай Бог, ещё и кто-нибудь заболит – не ты, а кто-нибудь из твоих. Было пару раз, поэтому знаю, о чём говорю. Совесть-то – её, конечно, в телескоп на небе не увидишь, но она ведь тебя, зараза такая, отовсюду видит. Не-е... – Он снова махнул рукой. – Хорош. Сейчас на примусе ужинчик сготовлю, ещё, может, фляжечку раздавлю – и на бочок. Ты же у нас на заднем ряду вроде ночуешь? А, ну вот и хорошо. За меня не беспокойся, я в багажнике подрушляю. А что такого? Мне это не впервой. Я там даже люблю. Как в барокамере. Так-то, может, и жутковато, но если знаешь, что живой человек наверху лежит – то вполне.

Шофёр помолчал, а потом спросил:

– Ты, гляжу, не пьёшь, не куришь?

«Снова наступает», – успел подумать Миша, но выстроить оборону уже не успел.

– Почему? – сдался он сразу, и судорога пробежала по его лицу. – И то и другое делаю. Просто нет при себе ничего. Дома оставил.

– Так чего ж ты молчишь, как красна девица? – обрадовался шофёр. – Вот тебе и то и другое. А то пью, понимаешь, один, как забулдыга какой.

Он протянул ему фляжку и пачку сигарет с зажигалкой.

Мишино сердце больно заколотилось, рассудок виновато засуетился в поисках спасения, но сумел найти только оправдание.

«Выпью сейчас, покурю, – рассуждал Миша, уже запрокинув голову в большом глотке и бессмысленно глядя на звёзды, – и лягу сразу в автобус. Так даже лучше. А то всё сидел бы, маялся... Потом бы ещё вниз пошёл приключения искать...»

Он закурил и прислушался к своему организму: зреет ли там снова то страшное, которое он уже однажды испытал, и из которого навряд ли получится выкарабкаться второй раз? Ему показалось, что не зреет, и он вдруг почувствовал себя удивительно прочным и уверенно заключил, что и в первый раз дело было вовсе не в алкоголе и сигаретах.

– Можно ещё? – указал он на фляжку.

– Что ты спрашиваешь! – всполошился шофёр. – Говорю же – ка-нис-тра! И с сигаретами нормально (у шофёра ведь всего должно быть с запасом, на все случаи жизни, правильно?), так что заberi себе эту пачку и кури на здоровье, а я себе новую вскрою! А вот тебе и спички персональные. Во как – всё есть!

Миша выпил ещё.

– Женат? – спросил шофёр.

– Нет.

– А чем занимаешься?

Миша вспомнил, что давным-давно хотел придумать какой-нибудь ответ на этот вопрос, – не для того, разумеется, чтобы лучше понять себя, а для того, чтобы хладнокровно предъявлять этот ответ другим, как предъявляют проездной билет, и избавлять себя тем самым от лишних вопросов. Но он так и не удосужился придумать этот ответ и теперь, мешкаясь в разговоре с шофёром, как мешкался уже много раз в разговорах с другими, чувствовал себя неудобно.

– Учитель русского и литературы, – ответил он наконец не очень приветливо, наскоро выбрав наиболее благородную из тех многочисленных специальностей, в которых ему поневоле довелось себя испробовать.

Это было лет пять тому назад. Девушка, с которой он встречался, сама работала учителем-словесником и попросила директора своей школы взять Мишу на полставки, закрыв глаза на отсутствие у него педагогического, да и какого-либо другого специального образования. Директор пошёл навстречу и впоследствии не имел повода в этом раскаяться (Миша преподавал интереснее, чем его образованная девушка), однако через полгода по школам покатила волна ужесточённых проверок, и Мишу попросили, от греха подальше, уволиться по собственному желанию. Он написал заявление без грусти, понимая, что и так вскоре покинул бы школу, потому что с девушкой всё шло к концу, да и много ещё почему...

– Учителя и врачи – самые важные люди, – сдержанно заметил шофёр, как бы стремясь загладить вину за свой неосторожный вопрос. – Цена ошибки у тех и у других одинаково велика...

Коньяк дал о себе знать – внезапно и в то же время ожидаемо, желанно. Мише представилось, что кто-то хороший зашёл в его голову, как в дом, и тихо зажёл там свечу.

Он посмотрел на своего собеседника с большой нежностью.

– Вы так замечательно обо всём рассуждаете... – сказал он шофёру. – Если вы мне ещё и сообщите, что не смотрите телевизор, вы будете моим кумиром навеки.

– Не-е, эту дрянь смотрю-ю, смотрю-ю, – с удовольствием признался шофёр. – Спорт люблю, про рыбалку люблю, сериальчики люблю, где один хороший человек всех плохих поодиночке укладывает. Смотрю-ю...

Миша вдруг понял, отчего ему так приятен этот разговор: оттого, что он точно знает, что скоро уйдёт вниз. Он ещё несколько раз выпьет, выкурит несколько сигарет, – а потом обязательно уйдёт.

«В шатающийся праздник ночи», – сказал он про себя, и всё у него внутри заново согрелось от этой только что родившейся строки. Он закурил ещё, задал шофёру какой-то интересный вопрос, и, ощутив тёплый настрой собеседника, шофёр раскрылся, заговорил о чём-то очень для него важном, так что даже один раз утёр своей богатырской пятернёй слезу, но Миша уже не мог следить за его мыслью: глядя на увлечённого рассказом взрослого человека, он испытал дежавю, и это оказался тот редкий случай, когда на вопрос: «где и когда это было?» сразу нашёлся точный ответ.

Это было в родительском доме, лет пятнадцать назад, в один из дней того сумасшедшего апреля, в котором он лишился девственности и познакомился с наркотиками.

Он не ночевал дома несколько дней и вернулся домой часу в пятом вечера, вздёргнуто бодрый и не к месту радостный. Он подошёл к родителям, которые вышли в коридор встречать его, и поцеловал каждого из них в щёку. Вообще-то они собирались его ругать, но его свежее, не пахнущее алкоголем дыхание, его поцелуи (особенная редкость для Миши) обескуражили их.

Всё же для приличия отец сказал, что ещё один такой загул – и тогда Мише придётся раз и навсегда выбирать: либо он живёт дома – либо он живёт там, где пропадал все эти дни. А теплеть где-то между и трепать этим матери нервы ему больше не позволят.

После этих слов ожидался Мишин уход в комнату: с протестом или раскаянием – не так уж важно. Но произошло другое: Миша полуигриво-полувсерьёз пал ниц и, воздев руки, простукал на коленях к родителям. Он попросил их не сердиться и признался, что по уши влюбился в одну прекрасную девушку; отчасти это было правдой.

Родителей новость заметно утешила: там, где они подозревали моральное разложение и тлетворное влияние, – оказалась всего-навсего романтика. Миша прошёл на кухню, мама и папа, как привязанные, прошли за ним: мама – якобы для того, чтоб накормить его, отец

– якобы для того, чтобы самому что-нибудь съесть. Действие веществ, которые часа за три до этого употребил Миша, напрочь исключало голод, и он должен был сказать маме, что его любимая девушка познакомила его со своей мамой и та накормила его до отвала. Это уже было неправдой. Все эти дни он и девушка (которая была на три года старше его) провели в электричках, на вокзалах незнакомых городов, в подъездах чужих домов, на квартирах у довольно страшных людей.

Миша согласился только на чай без сахара. Родители стали задавать ему вопросы о девушке в соотношении приблизительно пять к одному: пять вопросов – мама и один, – как полагается, с элементами иронии, – отец. Миша рисовал им портрет, снова не имеющий ничего общего с реальностью, но в целом поразительно правдоподобный: его химическое вдохновение позволяло ему смело сыпать такими подробностями, которые, казалось бы, невозможно придумать.

Портрет очень понравился родителям. Мама размечталась, сладко затосковала по молодости и спросила отца, хоть и не надеялась на его серьёзный ответ:

– Ты вот, интересно, такой же домой пришёл, когда со мной познакомился?

Отец надул щёки и, подняв глаза к потолку, медленно выпустил воздух. Кажется, вместе с этим воздухом он выпустил из себя и всю свою обычную иронию (которая въелась в него с годами, как запах машинного масла того завода, где он руководил цехом), потому что он вдруг сказал совершенно серьёзно:

– Наверное, не такой. Всё было по-другому. Но тоже, между прочим, нетривиально.

Мама и Миша посмотрели на отца с одинаково сильным (хоть и различным по своей природе) чувством ожидания. Тогда отец медленно сел за стол (до этого он стоял, прислонившись к столешнице) и без всяких предисловий начал рассказывать о самом дорогом – так же, как теперь рассказывал шофёр. Его ирония сошла с него, как тяжёлая воинская амуниция, утратившая свой смысл в мирное время. Миша никогда прежде не видел отца таким, и ему было очень тревожно оттого, что он впервые увидел его таким именно тогда, когда сам находится *под этим*.

Шли важные, осторожно-исповедальные минуты воспоминаний. Отец тысячу лет не притрагивался к прошлому и очень опасался, что это предприятие может иметь для него какие-нибудь неожиданно-неприятные последствия, поэтому он то и дело находил жену и сына взглядом, ищущим поддержки: они были его единственными провожатыми в забытый мир прошлого.

Сейчас Миша уже не помнил, о чём рассказывал тогда отец. Он помнил только, что мать, красиво подперев подбородок кулаком, смотрела на отца влюблённо и глаза её блестели от слёз. Потом отец, продолжая рассказывать, встал, открыл один из кухонных шкафчиков, достал уполовиненную бутылку дорогого коньяка, который подарили ему от завода на юбилей, достал три рюмки и наполнил каждую. Миша не мог уже отказаться, он чокнулся с родителями, выпил и почувствовал, как отвратительно одна химия смешалась с другой – и в животе, и в голове.

«Только бы не вырвало», – неожиданно для себя помолился он Богу.

Отец говорил и говорил, мать блаженно слушала, а Миша поминутно сглатывал рвотные массы, которые стояли столбом в пищеводе и то и дело нахлынывали в ротовую полость. То, что родители этого так и не заметили, он позже считал маленьким чудом, произошедшим по его молитве.

– Видишь, Миша, – загадочно сказала мама, – какие вещи открываются на пятом десятке. Жизнь удивительна, сынок, и у тебя она только начинается. Береги себя, береги своё...

Отец, не дав ему дослушать маму, отозвал его в коридор и заговорил взволнованным шёпотом:

– Слушай, сынок, ты можешь погулять ещё часа полтора на улице? Я хочу немного побыть наедине с нашей мамой. Вот тебе...

Он залез в карман висевшей на вешалке куртки и выдал Мише непривычно много денег.

– Купи себе, что хочешь. Можешь даже потом не отчитываться, на что потратил. Я тебе доверяю. Только прошу: на полтора часа, а не на несколько дней. Пощади мать. Всё. Давай.

Миша вышел на улицу и сразу ощутил на себе непомерно огромное давление мира. От этого давления можно было убежать, лишь видя перед собой какую-нибудь ясную цель. И Миша придумал такую цель: дойти до места, где можно будет спокойно освободить желудок.

Он намеренно неторопливо дошёл до «Пенсионного пруда», углубился в кустарник, и его там долго рвало, рвало каким-то, как ему казалось, жидким линолеумом, и Миша хотел, чтобы его рвало ещё и ещё, потому что чувствовал, *что* будет, когда рвота закончится.

Рвота закончилась, он вышел из кустарника и сел на скамейку у воды. Единственная цель, которую он видел перед собой, была достигнута, и ему больше некуда было убежать от давления мира. Ему не хотелось ни есть, ни спать, ни выпить, ни покурить, ни оживить в себе действие наркотика новым употреблением. Он не хотел сидеть на этом месте – и не хотел идти ни в какое другое. Он не хотел жить ни дома, ни «там, где пропадал все эти дни».

– Жизнь исключает меня, – произнёс он неожиданно для себя самого и подумал: «Вот он, отходняк, о котором рассказывают».

Он провёл у Пенсионного пруда шестьдесят с лишним минут, полных беспросветной, адской тоски. Он мысленно просил у кого-то заменить эту тоску на физическую боль какой угодно силы, ведь физическая боль тоже придаёт человеку цель: терпение, избавление, лекарство, – а цель помогает избежать давления мира. Но у него ничего не болело, а умышленно причинять себе боль было бесполезно: он знал, что такая боль не поможет ему.

Невероятным усилием воли он выбрался из парковой зоны к знакомой проезжей части, за которой вздымались расклеванные кафелем дома. Всё было окутано тёплым дымом безнадёжной, неспасительной весны.

– Мёртвая весна, – сказал Миша вслух и вошёл в подъезд.

Он тихо открыл дверь и, как обычно, сразу – ещё прежде, чем что-либо увидеть или услышать, – ощутил, что в квартире работает телевизор. Он взглянул на дверь родительской комнаты: дверь была приоткрыта, и в щели действительно голубел телевизионный свет. Миша направился по тёмному коридору к себе, но что-то заставило его остановиться и заглянуть к родителям.

Они сидели перед телевизором на сложенном диване – отец просто, а мать, как обычно, с ногами. Окно комнаты было настежь открыто для проветривания: апрельский ветер держал занавеску в неподвижно надутом состоянии, делая её похожей на парус.

За окном зарождался страшный праздник заката, и на фоне этого праздника крестовина оконной рамы, вздымавшаяся над родителями, чернела тоже страшно и священно – подобно распятию или мачте корабля.

Заметив Мишино появление, мать и отец одновременно повернули к нему свои лица, до этого прикованные к какому-то фильму. Это были иконописные лица. Чувствуя, что вот-вот зарыдает, Миша быстро показал родителям приветственную ладонь, закрыл дверь и ушёл к себе в комнату.

Никогда – ни до, ни после – он не был так близок к самоубийству, как в тот вечер у себя в комнате.

7

– Ты прости, Миша. Что-то разболтался я, старый дурак, – вздохнул шофёр, видимо не без усилия приостановив поток своей прорвавшейся речи. Он обнял Мишу одной рукой, но, не получив ответного объятия, не посмел задержать руку надолго и, проскользив ею по Мишиной спине, вытащил из пачки очередную сигарету и стал её, покручивая, разминать. – Хороший ты парень, вот что я тебе скажу. Жалко, что не догадался я такого сына себе родить. Вот так же вот сидел бы с ним под звёздами, о том, о другом разговаривал. Всё бабьи глупости слушал: «денег не хватит», «одного бы поднять», «нищету не плодить». Эх...

– Знаете, не такой уж я и замечательный сын, – сказал Миша, чтобы немного утешить шофёра. – Полжизни о революции мечтал.

– И правильно! – поддержал шофёр с неожиданной энергией. – Давно пора, я считаю. – Но тут же и успокоился: – Хотя, конечно, не хотелось бы...

Он встал и пошатнулся.

– Покушать нам с тобой надо, Мишуня, вот что. Пойду займусь, пока не совсем косой. Ты сиди, любуйся...

Он пошёл к автобусу. Миша быстро припал к фляжке и осушил её.

Глотая, он снова увидел небо. Звёзды стали именно тем, для чего прибыли сюда астрономы. Звёзд было невероятно много, Миша никогда столько не видел, и в первые секунды надеялся, что за счёт их небывалого количества в его голове вот-вот родится такая же небывалая, свежая мысль о небе; что, быть может, этой мысли будет достаточно, чтобы побродить с нею в одиночестве по холмам, уже без сигарет, без алкоголя, и найти какие-нибудь новые твёрдые основания для своей дальнейшей жизни.

Но надежда быстро угасла. Устремившись вглубь вселенской ночи, Мишина мысль вернулась назад с той же жалкой добычей, что и всегда: с набором стёртых эпитетов. «Огромная», «бесконечная», «холодная», «равнодушная», «загадочная», «обитаемая», «необитаемая»...

«Надоевшая, привычная. И непробиваемая, как потолок в моей комнате», – добавил он несколько свежих, но ничего не дающих ни уму ни сердцу определений, и его пьяная мысль перешатнулась на землю, к астрономам.

Самых астрономов отсюда было уже не разглядеть. Их местоположение на холмах обозначали одни фонари, красный свет которых напоминал лаву, зловеще проглядывающую в трещинах земли.

«Как хорошо устроились, – думал Миша. – Знают, как какая звезда называется, пользуются приборами, – и им уже интереснее. Они могут о небе часами разговаривать, и всё будут говорить что-то новое. Но это то же самое, что с Тургеневым. Он почему так хорошо о природе рассказывал? Потому что он её убивал – охотник был. С «вооружённым глазом». А заставь человека просто так по лесу ходить – он и двух слов о нём не свяжет. А я всю жизнь просто так проходил».

Почему-то вслед за этим Мишина мысль перескочила на брата, и почему-то перескочила с обидой.

«Захотел меня вытащить – так вытащи по-человечески. Расставь свой телескоп, подведи, дай в глазок посмотреть, расскажи интересные факты. Налей чаю горячего, кашей накорми. Покажи достоинства своей нормальной жизни. А то выехал с этой... Венерой палеолита. А мне что делать?»

Миша встал.

– Мишка! – крикнул от автобуса шофёр. – Уже скоро!

У шофёра тоже был свой огонёк – не красный, а синий, из примуса, совсем маленький.

– Да, да, спасибо, – сказал Миша. – Я сейчас. Только дойду до брата...

8

Он спускался по осыпающейся песчаной тропинке, по еле различимой серо-голубой полосе на чёрном, и чувствовал, как тяжело встряхивается кожа его опухшего лица от каждого шага вниз: казалось, на каком-нибудь шаге щёки могут просто оторваться вместе с нижними веками.

– В шатающийся праздник ночи... – вслушивался он в свой голос.

Тропинка привела к подножиям двух невысоких холмов, не занятых астрономами. Здесь она не заканчивалась, а только ныряла во тьму древесной поросли, которой, как Миша заметил ещё сверху, были заполнены все складки между холмами.

Опять его удивляло что-то, что казалось сверху таким гладким и простым, предстало вблизи таким подробным и сложным – совсем другим.

Он полез на холм. Подъём был довольно крутой, так что приходилось использовать не только ноги, но и руки – цепляться за случайные стебли, многие из которых были колючими. Очутившись на вершине, Миша упёрся ладонями в колени. Он чувствовал неприятную усталость и опустошённость.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.